

> МАГИСТРАЛЪ >

МЕТЦЕНГЕРШТЕЙН

Pestis eram vivus — moriens tua
mors ero.

*Martin Luther*¹

Ужас и рок шествовали по свету во все века. Стоит ли тогда говорить, к какому времени относится повесть, которую вы сейчас услышите? Довольно сказать, что в ту пору во внутренних областях Венгрии тайно, но упорно верили в переселение душ. О самом этом учении — то есть о ложности его или, напротив, вероятности — я говорить не стану. Однако же я утверждаю, что недоверчивость наша по большей части (а несчастливость, по словам Лабрюйера, всегда) «vient de ne pouvoir être seule»².

Но суеверие венгров кое в чем граничило с нелепостью. Они — венгры — весьма существенно отличались от своих восточных учителей. Например, душа, говорили первые (я привожу слова одного пронизательного и умного парижанина), «ne demeure qu'une seule fois dans un corps sensible: au reste — un cheval, un chien, un homme même, n'est que la ressemblance peu tangible de ces animaux»³.

Веками враждовали между собою род Берлифитцингов и род Метценгерштейнов. Никогда еще жизнь двух столь славных семейств не была отягощена враждою столь ужасной. Источник этой розни кроется, пожалуй, в словах древнего пророчества: «Высоко рожденный падет низко, когда, точно всадник над конем, тленность Метценгерштейнов восторжествует над нетленностью Берлифитцингов».

¹ При жизни был для тебя несчастьем; умирая, буду твоей смертью (*лат.*). *Мартин Лютер*.

² Проистекает оттого, что мы не умеем быть одни (*фр.*).

³ Лишь один раз вселяется в живое пристанище, будь то лошадь, собака, даже человек, впрочем, разница между ними не так уж велика (*фр.*).

Разумеется, слова эти сами по себе мало что значили. Но причины более обыденные в самом недавнем времени привели к событиям столь же непоправимым. Кроме того, земли этих семейств соприкасались, что уже само по себе с давних пор рождало соперничество. К тому же близкие соседи редко состоят в дружбе, а обитатели замка Берлифитцинг со своих высоких стен могли заглядывать в самые окна дворца Метценгерштейн. И едва ли не королевское великолепие, которое таким образом открывалось их взорам, менее всего способно было успокоить ревнивые чувства семейства не столь древнего и не столь богатого. Можно ли тогда удивляться, что, каким бы нелепым ни было то прорицание, оно вызвало и поддерживало распрю двух родов, которые, подстрекаемые соперничеством, переходящим из поколения в поколение, и без того непременно должны были бы враждовать. Пророчество, казалось, лишь предрекло — если оно вообще предрекло что бы то ни было — окончательное торжество дома, и без того более могущественного, а домом слабейшим и менее влиятельным вспоминалось, конечно же, с горькою злобой.

Высокородный Вильгельм, граф Берлифитцинг, в ту пору, о которой идет рассказ, был дряхлым, впавшим в детство стариком и отличался единственно неумеренной и закоренелой неприязнью к семье своего соперника и столь страстной любовью к лошадям и охоте, что ни дряхлость тела, ни преклонный возраст, ни ослабевший ум не мешали ему всякий божий день подвергать себя опасностям полеваяния.

Фредерик, барон Метценгерштейн, напротив того, еще не достиг совершеннолетия. Отец его, министр Г., умер молодым. Мать, баронесса Мария, ненадолго пережила своего супруга. Фредерику в ту пору шел девятнадцатый год. В городе восемнадцать лет — срок недолгий, на приволье же, да еще столь великолепном, каким было старое поместье, течение времени исполнено более глубокого смысла.

Благодаря некоторым особым обстоятельствам юный барон стал полновластным хозяином громадных богатств сразу же после смерти своего отца. Мало у кого из венгерских вельмож были такие имения. Замкам его не было числа. Но самым большим и самым великолепным был дворец Метценгерштейн. Пределы его владений никогда не были в точности обозначены, но граница главного парка протянулась на пятьдесят миль.

В том, как поведет себя новый владелец, такой юный, с характером так хорошо известным, получив столь беспримерное богатство, мало у кого были сомнения. И разумеется, в первые

же три дня наследник дал себе полную волю и превзошел самые смелые ожидания самых горячих своих поклонников. Бесстыдный разгул, вопиющее вероломство, неслыханные жестокости быстро показали его трепещущим вассалам, что ни рабская их покорность, ни голос совести не послужат им отныне защитой от безжалостных когтей маленького Калигулы. В ночь на четвертый день загорелись конюшни замка Берлифитцинг, и вся округа единодушно присовокупила этот поджог к и без того чудовищному списку беззаконий и злодеяний барона.

Но во время суматохи, вызванной этим происшествием, сам юный вельможа сидел, погруженный в глубокое раздумье, в огромной и мрачной зале в верхнем этаже родового дворца Метценгерштейнов. На пышных, хотя и выцветших гобеленах, что висели по стенам, смутно проступали величественные фигуры множества прославленных предков. Здесь облаченные в горностаи епископы и кардиналы, как равные сидя рядом с властителем монархов, накладывают вето на желания какого-нибудь земного владыки либо именем верховной власти самого папы обуздывают дерзновенного врага рода человеческого. Там статные сумрачные князья Метценгерштейны — их могучие боевые кони топчут поверженных врагов, а решительное выражение их лиц способно испугать человека даже с весьма крепкими нервами; а вот исполненные неги и гибкие, как лебеди, дамы давних времен уплывают в призрачном танце под звуки воображаемой музыки.

Но пока барон прислушивался или делал вид, что прислушивается к нараставшему в конюшнях Берлифитцинга шуму, а быть может, замышляя новое, еще более дерзкое злодейство, взгляд его, скользивший по гобеленам, упал на огромного, необычайной масти коня, который принадлежал какому-то сарацину, одному из предков его соперника. Конь изображен был на переднем плане, и был он недвижим, точно статуя, а в глубине умирал поверженный всадник, пронзенный кинжалом Метценгерштейна.

Когда Фредерик понял, на чем случайно задержался его взгляд, губы его искривила дьявольская усмешка. Однако же он не отвел глаз. Напротив, он никак не мог понять, что за неодолимая тревога сковала все его существо. Не сразу, с трудом осознал он, что, несмотря на смутные бессвязные свои ощущения, он не спит, а бодрствует. Чем дольше смотрел он, тем больше поддавался чарам, и, казалось, никогда уже ему не оторвать замороженного взгляда от гобелена. Но шум и крики за окном вдруг сделались громче, и он с усилием заставил себя

взглянуть на алые отблески, что отбрасывало на окна пламя, охватившее конюшни.

Однако уже в следующий миг взгляд его вновь невольно обратился на тот же гобелен. К величайшему его ужасу и удивлению, голова гигантского коня тем временем изменила положение. Шея его, прежде склоненная словно бы сочувственно над распростертым телом господина, теперь вытянулась в сторону барона. Глаза, прежде невидные, сейчас смотрели осмысленно, совсем по-человечески, и в них странно мерцал яростный багровый огонь; а губы расвирепевшего коня растянулись, обнажая отвратительный мертвый оскал.

Пораженный ужасом, молодой барон, шатаясь, устремился к двери. Распахнул ее, и тотчас в комнату ворвался красный свет и отбросил тень барона на затрепетавший гобелен; на мгновение замешкавшись на пороге, он со страхом увидел, что она в точности совпала с очертаниями безжалостного и торжествующего убийцы, вонзившего кинжал в сарацина Берлифитцинга.

Чтобы рассеять странный испуг, барон поспешно вышел на воздух. У главных ворот дворца он столкнулся с тремя конюшми. С великим трудом и с опасностью для жизни они сдерживали судорожно рвущегося из рук гигантского огненно-рыжего коня.

— Чей конь? Откуда он у вас? — хрипло, запальчиво спросил юноша, ибо он вдруг увидел, что это взбешенное животное — двойник загадочного коня на гобелене.

— Конь ваш, ваша светлость, — отвечал один из конюших, — по крайней мере никто не признал его своим. Мы поймали его, когда он вынесся из горящих конюшен Берлифитцинга, бока у него курились, на губах пена. Мы подумали, он графский, из конюшни чужеземных коней, и отвели его назад. Но там конюхи его не признали. Странно это, ведь сразу видно, что он вырвался прямо из огня.

— И на лбу у него клеймо, очень четкое, УФБ, — вмешался второй конюший. — Вероятно, Уильям фон Берлифитцинг, но в замке все как один уверяют, будто никогда этого коня и в глаза не видели.

— Очень странно! — в недоумении сказал молодой барон, явно не задумываясь над смыслом своих слов. — Ведь и вправду удивительный, редкостный конь! Хотя, как вы весьма справедливо заметили, нрав у него подозрительный и непослушный. Что ж, пускай будет мой, — прибавил он, помолчав. — Быть

может, Фредерик Метценгерштейн сумеет обуздать самого дьявола из конюшен Берлифитцинга.

— Вы ошиблись, ваша светлость. Мы уже говорили: лошадь эта не из конюшен графа. Будь она оттуда, мы бы не посмели привести ее пред глаза вашей светлости.

— В самом деле, — сухо заметил барон, и в этот миг из замка выбежал паж.

Он шепнул на ухо господину, что в верхней зале внезапно исчезла часть гобелена; сообщил также и подробности, но поведал он их едва слышным шепотом, так что ни одна не достигла ушей конюших, чье любопытство было сильно возбуждено.

Фредерик слушал, и его, казалось, обуревали самые разные чувства. Однако же скоро к нему вновь вернулось самообладание, и, когда он властно приказал немедля запереть залу, о которой шла речь, и ключ отдать ему в собственные руки, лицо его выражало злую решимость.

— Вы слышали о неожиданной смерти старого Берлифитцинга? — спросил барона один из его вассалов, когда, после ухода пажа, могучий конь, которого этот вельможа согласился счесть своею собственностью, стал с удвоенной яростью кидаться из стороны в сторону на аллее, ведущей от дворца к конюшням Метценгерштейна.

— Нет! — отвечал барон, резко оборотясь к говорящему. — Умер, вы говорите?

— Да, ваша светлость. И для вельможи из рода Метценгерштейнов, я полагаю, это не столь уж неприятное известие.

На губах барона промелькнула улыбка.

— Какою смертью он умер?

— Он отчаянно пытался спасти хотя бы лучшую часть своего конского завода и сам погиб в пламени.

— Вот так! — промолвил барон, словно бы не вдруг осwoясь с мыслью, сильно его взволновавшей.

— Вот так, — подтвердил вассал.

— Ужасно! — хладнокровно сказал юноша и спокойно вошел в свой дворец.

С этих пор в поведении беспутного молодого барона Фредерика фон Метценгерштейна произошла разительная перемена. Он, право же, обманул ожидания всех и вся и, на взгляд бесчисленных маменек, повел себя престранно; привычками своими и манерами он еще меньше, нежели прежде, походил теперь на своих аристократических соседей. Никто отныне никогда не встречал его за пределами его владений, и,

несмотря на широкое знакомство, он все свое время проводил в полном одиночестве, разве только странный, неподатливый огненно-рыжий конь, с которого он теперь почти не слезал, по какому-то загадочному праву мог называться его другом.

Однако же он еще долгое время получал множество приглашений от соседей: «Не почтит ли барон наш праздник своим присутствием?», «Не соизволит ли барон принять участие в охоте на вепря?»

«Метценгерштейн не охотится», «Метценгерштейн не придет», — надменно и коротко отвечал он.

Гордая знать не желала мириться со столь оскорбительной заносчивостью. Приглашения становились все менее радушными, приходили все реже, а со временем и вовсе прекратились. Говорят, вдова несчастного графа Берлифитцинга даже выразила надежду, что барону придется сидеть дома и тогда, когда ему совсем этого не захочется, ибо он презрел общество ровни, и придется скакать верхом, когда у него не будет к тому охоты, ибо он предпочел общество коня. Это, разумеется, была лишь весьма неумная вспышка наследственной розни; и она лишь доказывает, сколь бессмысленны бывают наши речи, когда мы желаем придать им особую силу.

Люди добросердечные объясняли, однако, перемену в поведении молодого вельможи вполне естественным горем сына, потрясенного безвременной смертью родителей, — они забывали при этом, как бессердечно и безрассудно вел он себя первое время после тяжкой этой утраты. Кое-кто полагал даже, что барон чересчур возомнил о своей особе и положении. Другие же (среди них можно назвать домашнего врача) уверенно говорили о склонности барона к болезненной меланхолии и о наследственной слабости здоровья; но большинство обменивалось зловещими намеками.

Упрямую привязанность барона к недавно приобретенному скакуну, привязанность, которая, кажется, становилась сильнее с каждым новым проявлением свирепой, демонической природы этого животного, люди здравомыслящие в конце концов, конечно же, сочли чудовищной и зловещей страстью. Среди бела дня или в глухой час ночи, здоров ли он был или болен, в ясную погоду или в бурю молодой Метценгерштейн, казалось, был прикован к седлу гигантского коня, чья неукротимая дерзость так отвечала его собственному нраву.

Существовали еще к тому же обстоятельства, которые вместе с недавними событиями придавали сверхъестественный и опасный смысл одержимости наездника и свойствам коня. Было тщательно измерено расстояние, которое конь преодолел одним прыжком, и оказалось, что оно ошеломляюще превысило все самые смелые ожидания людей, одаренных самым богатым воображением. Кроме того, барон не назвал этого скакуна никаким именем, хотя у всех прочих коней были свои особые клички. И конюшня его также находилась в отдалении от остальных; а кормить, чистить и даже просто войти в отведенное ему стойло не отваживался никто, кроме самого владельца.

Надо еще заметить, что, хотя трое конюших, которые поймали жеребца, когда он спасался из объятых пламенем конюшен Берлифитцинга, сумели остановить его с помощью уздечки и аркана, однако же ни один не мог с уверенностью сказать, что во время этой опасной схватки или когда-либо после он коснулся самого коня. Проявления редкостного ума в повадках благородного и резвого животного не должны были бы возбудить особых толков, но некоторые обстоятельства взбудоражили даже самых недоверчивых и равнодушных, и, говорят, иной раз целая толпа, собравшаяся поглазеть на диковинного коня, шарахалась в ужасе, словно чувствовала, что неспроста он так свирепо бьет копытом, и даже молодой Метценгерштейн, случалось, бледнел и съеживался под его пронзительным, испытующим, совсем человеческим взглядом.

Среди многочисленной свиты барона никто, однако, не сомневался в пылкости той необыкновенной любви, которую молодой вельможа питал к буйному, норовистому коню; никто, кроме ничтожного и уродливого маленького пажа, чье уродство всем бросалось в глаза и чьи слова никто ни во что не ставил. У него хватало дерзости утверждать (если мнение его вообще заслуживает быть упомянутым), что всякий раз, как господин его вспрыгивал в седло, по его телу проходила непонятная, едва заметная дрожь; и всякий раз, как он возвращался с обычной своей долгой прогулки, лицо его было искажено злобным торжеством.

Однажды бурной ночью, очнувшись от тяжелой дремоты, Метценгерштейн точно безумный выбежал из своей спальни и, поспешно вскочив в седло, ускакал в лесную чащу. Так бывало не раз, и потому никто не беспокоился, а вот возвращения его домочадцы на сей раз ожидали в большой тревоге, ибо через

несколько часов после его отъезда могучие и величественные стены дворца Метценгерштейна треснули до самого основания и зашатались, охваченные синевато-багровым неукротимым пламенем.

Когда огонь впервые заметили, дворец уже весь полыхал, и любые усилия спасти хоть какую-то его часть были, несомненно, обречены на неудачу, так что ошеломленные соседи праздно стояли вокруг и молча, хотя и сокрушенно, дивились происходящему. Но в скором времени новое и страшное зрелище приковало внимание собравшихся и доказало, что человеческие муки потрясают чувства толпы куда глубже, нежели самая страшная гибель предметов неодушевленных.

На аллею, обсаженную могучими дубами, что вела из лесу прямо к дворцу Метценгерштейна, стремительно, точно сам мятежный дух бури, вылетел конь, неся смятенного всадника.

Бесспорно, не всадник направлял эту неистовую скачку. Лицо его выражало муку, тело напряглось в сверхчеловеческом усилии, в кровь искусаны были губы, но лишь однажды вырвался у него короткий, пронзительный крик ужаса. Мгновение — и в реве огня и вое ветра отчетливо и резко простучали копыта, еще мгновение, и, одним прыжком перенесясь через ворота и ров, конь вскочил на готовую рухнуть лестницу дворца и вместе с всадником исчез в бушующих вихрях пламени.

И сразу же буря утихла, и воцарилась гнетущая тишина. Белое пламя все еще, точно саваном, окутывало дворец и, устремившись в безмятежную высь, озарило все окрест каким-то сверхъестественным светом, а над зубчатыми крепостными стенами тяжело нависло облако дыма, в очертаниях которого явственно угадывался гигантский конь.

МАНУСКРИПТ, НАЙДЕННЫЙ В БУТЫЛКЕ

Qui n'a plus qu'un moment à vivre
N'a plus rien à dissimuler.

Кому осталось жить одно мгновенье,
Тому уж нечего скрывать.

(Ф. Кино. Атис)

О моей родине и о моей семье мне почти нечего сказать. Постоянные злополучия и томительные годы отторгнули меня от одной и сделали чужим для другой. Родовое богатство дало мне возможность получить воспитание незаурядное, а созер-

цательный характер моего ума помог мне систематизировать запас знаний, который скопился у меня очень рано благодаря неустанным занятиям. Больше всего мне доставляли наслаждение произведения германских философов; не в силу неуместного преклонения перед их красноречивым безумием, но в силу той легкости, с которой мое строгое мышление позволяло мне открывать их ошибки. Меня часто упрекали в сухости моего ума; недостаток воображения постоянно вменялся мне в особенную вину; и пирронизм моих суждений всегда обращал на меня большое внимание. Действительно, сильная склонность к физической философии, я боюсь, отметила мой ум весьма распространенной ошибкой нашего века — я разумею манеру подчинять принципам этой науки даже такие обстоятельства, которые наименее дают на это право. Вообще говоря, нет человека, менее меня способного выйти из строгих пределов истины и увлечься блуждающими огнями суеверия. Я счел нужным предпослать эти строки, потому что иначе мой невероятный рассказ стал бы рассматриваться скорее как бред безумной фантазии, нежели как положительный опыт ума, для которого игра воображения всегда была мертвой буквой.

После нескольких лет, проведенных в скитаниях по чужим краям, я отплыл в 18... году от Батавии, из гавани, находящейся на богатом и очень населенном острове Яве, держа путь к архипелагу Зондских островов. Я отправлялся как пассажир — не имея к этому никакой иной побудительной причины, кроме нервного беспокойства, которое преследовало меня, как злой дух.

Наше судно представляло из себя очень солидный корабль, приблизительно в четыреста тонн, скрепленный медными склепками и выстроенный из малабарского тика в Бомбее. Судно было нагружено хлопчатой бумагой и маслом с Лакедивских островов. Кроме того, в грузе были кокосовые охлопья, кокосовые орехи, тростниковый сахар и несколько ящиков с опиумом. Погрузка была сделана искусно, из-за этого корабль накренялся.

Мы отплыли под дуновением попутного ветра, и в течение нескольких дней шли вдоль восточного берега Явы, причем единственным развлечением, сколько-нибудь нарушавшим монотонность нашего путешествия, были случайные встречи с тем или с другим из небольших грабов, плавающих по архипелагу, к которому мы были прикованы.

Однажды вечером, облокотясь на гакаборт, я следил за странным облаком, одиноко видневшимся на северо-западе.

Оно было замечательно, как по своему цвету, так и потому, что оно было первым облаком, которое мы увидели, с тех пор как отплыли из Батавии. Я внимательно наблюдал за ним до заката солнца, и тут оно мгновенно распространилось к востоку и к западу, опоясав горизонт узкой полосой тумана и приняв вид длинной линии отлогого берега. Внимание мое вскоре после этого было привлечено видом багрового месяца и особенным характером моря. С этим последним совершалась быстрая перемена, и вода представлялась более чем обыкновенно прозрачной. Хотя я совершенно явственно мог видеть дно, тем не менее, опустивши лот, я нашел, что корабль находился на пятнадцати саженях глубины.

Воздух сделался невыносимо удушливым и был насыщен спиральными испарениями, подобными тем, которые поднимаются от раскаленного железа. С приближением ночи самое легкое дуновение ветра умерло, и более невозмутимого спокойствия невозможно было себе представить. Пламя свечи горело на корме без малейшего колебания, и длинный волос, будучи положен между большим пальцем и указательным, висел так неподвижно, что нельзя было уловить даже самого слабого трепетания. Однако, по словам капитана, ничто не предвещало опасности, и, так как мы плыли лагом к берегу, он отдал приказание убрать паруса и ослабить якорь. Не было поставлено ни одного часового, и весь экипаж, состоявший главным образом из малайцев, нарочно улегся на палубе. Я сошел вниз, и, должен сказать, в душе у меня было полное предчувствие беды. На самом деле, все говорило мне о приближении самума. Я высказал свои опасения капитану, но он не обратил на мои слова никакого внимания и даже не удостоил меня ответом. Как бы то ни было, благодаря беспокойству я не мог уснуть и около полуночи отправился на палубу. Когда я взшел на последнюю ступеньку трапа, находившегося возле капитанской каюты, я был поражен громким и глухим шумом, подобным быстрому рокоту мельничного колеса, и прежде чем я успел подумать, что это значит, я почувствовал, как корабль задрожал до основания. В следующее мгновение бешеный вал, покрытый барашками, опрокинул корабль на бок и, промчавшись спереди и сзади, точно гигантской метлой, мгновенно очистил всю палубу с носа до кормы.

Крайнее бешенство вихря в значительной степени обеспечило целостность корабля. Хотя он весь окунулся в воду, однако через несколько мгновений, после того как мачты опрокинулись на борт, он тяжело поднялся из моря и, содрогаясь под

исполинским давлением бури, в конце концов совершенно выпрямился.

Каким чудом я спасся от гибели, не могу объяснить. Оглушенный ударом водного потока, я тотчас же очнулся и увидел себя стиснутым между старн-постом и рулем. С великим затруднением я высвободил свои ноги и, оглядевшись кругом потерянным взглядом, был, прежде всего, поражен мыслью, что вокруг нас свирепствует бурун, — так чудовищно было это невообразимое кружение исполинских тенистых масс океана, в смятение которых мы были втянуты. Через некоторое время я услышал голос старика шведа, который сел вместе с нами на корабль в ту самую минуту, когда мы оставляли гавань. Я стал кричать ему изо всех сил, и неверными шагами он подошел ко мне сзади. Вскоре нам пришлось убедиться, что только мы двое пережили это неожиданное событие. Исключая нас, весь экипаж, находившийся на палубе, был смыт — капитан и штурманы, несомненно, погибли во время сна, потому что каюты были залиты водой. Без какой-нибудь посторонней помощи мы вряд ли могли сделать что-нибудь для того, чтобы спасти корабль, и всякие усилия были сперва парализованы ежеминутным ожиданием гибели. Наш канат, конечно, лопнул, как тонкая бечевка, при первом же взрыве урагана, в противном случае мы тотчас же были бы поглощены морем. С ужасающей быстротой мы мчались теперь по морю и видели, как вода делает в корабле трещины. Сруб кормы был сильно расщеплен, и почти повсюду мы получили значительные повреждения, но, к крайней нашей радости, насосы не были повреждены и в балласте не произошло значительных передвижений. Главное бешенство бури уже миновало, и со стороны ветра нам не угрожало особенной опасности; но мы с ужасом думали, что порывы вихря могут совсем прекратиться, так как не могли не видеть, что тогда корабль, в своем полуразрушенном состоянии, неминуемо погибнет под напором ужасающих валов. Однако такое справедливое опасение, по-видимому, не должно было скоро оправдаться. Целые пять дней и пять ночей, — в течение которых нашим единственным пропитанием было небольшое количество тростникового сахара, с трудом добытого из бака, — корпус корабля устремлялся с невообразимой поспешностью, под дуновением быстро сменявшихся порывов вихря, который, не будучи равен по силе первому взрыву самума, все же был настолько страшен, что подобного смятения воздуха до тех пор я никогда не видал. Первые четыре дня мы плыли, с небольшим уклоном, к юго-востоку и к югу; должно быть, мы